

1

Он сразу просыпался, когда среди ночи мать включала вентилятор, хотя резиновые лопасти крутились почти бесшумно: приглушенное жужжание и время от времени остановка, если в лопастях застревал край гардины. Тут мать, тихо чертыхаясь, вставала с постели, высвобождала гардину и зажимала ее между дверцами книжного шкафа. Абажур лампы был из зеленого шелка — водянистая зелень, а сквозь нее — желтые лучи, и ему казалось, что красное вино в стакане, стоящем на тумбочке у постели матери, очень похоже на чернила: темный, тягучий яд, который она потягивает маленькими глотками. Мать читала, курила и изредка отпивала глоток.

Из-под полуопущенных век он наблюдал за нею, не шевелясь, чтобы не привлечь ее внимания, и провожал взглядом дым сигареты, который тянулся к вентилятору; ток воздуха засасывал и дробил серые и белые облака, а потом мягкие зеленые лопасти перемалывали их и выбрасывали вон. Вентилятор был большой — такие стоят в магазинах — добродушный ворчун, он за несколько минут очищал воздух в комнате. Тогда мать нажимала кнопку на стене там, где

над кроватью висела фотография отца: улыбающийся молодой человек с трубкой во рту, слишком молодой, вряд ли такой годился в отцы одиннадцатилетнему мальчику; отец был молод, как Луиджи в кафе Генеля, как робкий маленький новый учитель, гораздо моложе матери, а она выглядела так же, как матери всех остальных ребят, ничуть не моложе. Отец — это улыбающийся паренек, но вот уж несколько недель мальчик видит его во сне совсем не таким, как на портрете, — печально поникший человек сидит на чернильной кляксе, будто на облаке, лица у него нет, но он плачет, потому что ждет уже миллионы лет; на нем мундир, но без знаков различия и без орденов; этот пришелец внезапно вторгся в сновидения мальчика, совсем не такой, каким ему хотелось бы видеть отца.

Самое главное лежать тихо, чуть дыша, с закрытыми глазами, тогда по шорохам в доме можно узнать, который час: если Глума уже не слышно, значит, половина одиннадцатого, если не слышно Альберта, значит, одиннадцать. Обычно он еще слышит Глума в комнатке наверху — тяжелые, размеренные шаги, или Альберта в соседней комнате — Альберт насвистывает за работой. Бывает, что и Больда поздно вечером спускается на кухню и начинает возиться там — шаркающие шаги, осторожно шелкнувший выключатель, и все-таки почти каждый раз Больда натывается на бабушку, и из передней доносится глухой голос:

— Эх ты, ненасытная утроба, что ты затеяла стряпню среди ночи? Опять жарить, паришь и варишь какую-нибудь дрянь?

И в ответ пронзительный смех Больды.

— Верно, старая карга, я проголодалась, хочешь чего-нибудь за компанию?

Снова пронзительный смех Больды и глухое, полное отвращения «тьфу!» бабушки. Иногда обе говорят шепотом, только время от времени слышен смех: пронзительный — Больды, глухой — бабушки.

То ли дело — Глум, тот ходит наверху взад и вперед и читает загадочные книги: «*Догматы*», «*Богословие и нравственность*». Ровно в десять Глум всегда идет в ванную, моется — шум воды, потом «пых!» — это он зажег газовую горелку, — и разом вспыхнуло множество язычков; потом Глум возвращается к себе, гасит свет и уже в темноте опускается на колени перед кроватью — молится. Слышно, как Глум тяжело стучается коленками об пол и, если в доме всюду тихо, как Глум бормочет слова молитвы. Долго-долго молится Глум в своей темной комнате. Потом встает с колен, и тогда под ним взвизгивают пружины матраца, — это значит, что ровно половина одиннадцатого.

Остальные — кроме Глума и Альберта — твердых привычек не имели: Больда иногда спускалась вниз уже за полночь и варила себе снотворное — листья хмеля, которые она держала в коричневом бумажном пакетике; случалось, что бабушка заходила на кухню, когда давно уже пробило час ночи, готовила себе целую гору бутербродов с мясом и, зажав под мышкой бутылку вина, уходила в свою комнату. Иногда среди ночи бабушка вдруг спохватывалась, что в сигаретнице не осталось сигарет — в красивой голубой фарфоровой сигаретнице, куда входило сразу две пачки. Тогда она бродила, шаркая ногами, по всему дому и, ворча, искала сигареты — большая, с очень светлыми волосами и розовым лицом; сперва она заходила

к Альберту: один Альберт курил сигареты, которые были ей по вкусу. Глум всегда курил трубку, а мамины сигареты старухе не нравились: «Бабья забава — меня мутит, как я на них гляну»; у Больды в шкафу всегда было несколько смятых, завалывшихся сигарет, которыми она оделяла почтальона и монтера — над этими сигаретами бабушка всячески издевалась: «У них такой вид, будто ты их выудила из святой воды, а потом высушила, старая грязнуля, — они только для монашек хороши, тьфу!» А порой в доме не было никаких сигарет; тогда Альберту приходилось среди ночи одеваться и ехать на своей машине в город за сигаретами, иногда они вместе с бабушкой собирали по всему дому подходящие монеты для автоматов. Но уж тут бабушка не желала ограничиваться десятком или двумя — она требовала никак не меньше полусотни сигарет в ярко-красных пачках с надписью — *Томагавк. Натуральный виргинский табак* — очень длинные, белоснежные, очень крепкие сигареты.

— Только чтоб не лежалые, мой дорогой!

А когда Альберт возвращался, она прямо в передней обнимала и целовала его, приговаривая:

— Если бы не ты, мой мальчик, ах, если бы не ты... родной сын и тот не был бы лучше.

Потом наконец она уходила к себе, жевала свои бутерброды — толстые ломти белого хлеба, густо намазанные маслом и обложенные мясом, пила вино и покуривала.

Альберт был почти такой же точный, как Глум, — ровно в одиннадцать у него в комнате становилось тихо, — то, что совершалось в доме после одиннадцати, имело отношение только к женщинам: бабушке, Больде и матери. Мать ночью редко вставала

с постели, зато она долго читала и курила слабые, сплюснутые сигареты, которые доставала из плоской желтой пачки с надписью: *Мечеть. Натуральный Восточный табак*. Изредка мать отпивала глоток вина и каждый час включала вентилятор, чтобы прогнать дым из комнаты.

Но часто по вечерам мать уходила куда-нибудь или приводила с собой гостей, тогда его, сонного, переносили в комнату к дяде Альберту, и он притворялся, будто не слышит этого. Он терпеть не мог гостей, хотя любил спать в комнате дяди Альберта. Когда приходили гости, они засиживались очень поздно — до двух, до трех, до четырех часов ночи, а то и до пяти, и дядя Альберт просыпал тогда утром и не с кем было позавтракать перед школой, — Глум и Больда уходили чуть свет, мать всегда спала до десяти, бабушка никогда раньше одиннадцати не вставала.

Хотя он всякий раз твердо решал больше не спать, он обычно опять засыпал, как только мать выключит вентилятор. Но когда она долго читала, он просыпался и во второй, и в третий раз, особенно если Глум забывал смазать вентилятор — и тот медленно, со скрипом делал первые обороты. Только потом, набрав скорость, лопасти начинали работать бесшумно, но все равно от первых же скрипучих звуков он сразу просыпался и видел, что мать лежит, подперев голову правой рукой, зажав сигарету в левой, а вина в стакане ровно столько же, сколько было раньше. Иногда мать читала даже Библию, порой он видел у нее в руках молитвенник в коричневом кожаном переплете, и неизвестно почему ему делалось от этого как-то не по себе. Он старался поскорей уснуть или начинал кашлять, чтобы мать знала, что он не спит.

Это случилось поздно, когда все в доме спали. Заслышав кашель, мать тотчас вскакивала и подходила к его постели. Она шупала ему лоб, целовала его в щеку и тихо спрашивала:

— Ты не заболел, малыш?

— Нет, нет, — отвечал он, не открывая глаз.

— Я сейчас погашу свет.

— Да нет, читай.

— У тебя ничего не болит? Температуры как будто нет.

— Конечно, нет. Я здоров.

Она укутывала его одеялом до шеи, и он удивлялся, какие у нее легкие руки. Потом она возвращалась в свою постель, гасила свет и включала в темноте вентилятор, чтобы очистить воздух, а пока вентилятор крутился, она разговаривала с ним.

— Хочешь, мы переведем тебя в верхнюю комнату, рядом с Глумом?

— Нет, здесь лучше.

— Или в соседнюю? Ее тоже можно освободить.

— Да нет, я правда не хочу.

— Ну, а к Альберту? Альберт перебрался бы в другую.

— Нет.

Вдруг вентилятор начинал крутиться все медленнее, и тогда он знал, что мать в темноте нажала кнопку. Еще несколько последних оборотов, скрежет, и потом — тишина, вдали слышны поезда — лязг и грохот сцепляемых товарных вагонов, перед глазами встает надпись: *Восточная товарная станция*. Они с Вельцкамом как-то ходили туда, дядя Вельцкама работает кочегаром на маневренном паровозе, который подает вагоны на сортировочную горку.

— Надо сказать Глуму, чтобы смазал вентилятор.

— Скажу.

— Да, пожалуйста, а теперь давай спать. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Но после этого он уже не мог уснуть и знал, что мать тоже не спит, хотя лежит совсем тихо. Мрак и тишина, только издалека приглушенный грохот с Восточной товарной, только всплывают и встают в памяти слова, которые не дают покоя: слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, — это слово было нацарапано и на стене у лестницы, ведущей в квартиру Брилаха, и еще новое слово: *безнравственно*, которое Брилах где-то подцепил и теперь все повторяет. Часто думал мальчик и о Гезелере, но тот был очень далеко, и когда он думал о Гезелере, то не чувствовал ни страха, ни ненависти, только какую-то тяжесть; он куда больше боялся бабушки, она постоянно вдальблывала в него имя Гезелера и при всяком удобном случае заставляла повторять его. Глум, слыша это, недовольно покачивал головой.

Потом он догадывался, что мать уснула, но сам никак не мог уснуть; в темноте он пытался представить себе лицо отца, но это ему не удавалось — тысячи глупых картин роем кружились в его голове — из фильмов, из иллюстрированных журналов, из учебников: Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак, — а отец не появлялся. И дядя Брилаха, Лео, вставал перед ним, и кондитер, и Гребхак с Вольтерсом, это те двое, которые делали в кустах что-то бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей травы. Интересно, а бесстыдный — это все равно что безнравственный? Но отец,

человек, который на фотографии выглядел слишком живым, слишком веселым, слишком юным для настоящего отца, отец так ни разу и не появился. Всем отцам обязательно подавали *яйцо к завтраку*, но с его отцом это как-то *не вязалось*. У всех отцов — *твердый распорядок дня*, свойство, которым в какой-то степени обладал дядя Альберт, но и *распорядок* никак не вязался с отцом. Распорядок — это: вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение домой, газета, сон. Но все это не вязалось с его отцом, зарытым где-то на окраине русской деревушки. Прошло уже десять лет, отец, наверное, похож теперь на скелет в медицинском музее. Кости, оскаленные зубы. Рядовой и поэт, как-то не подходит одно к другому. Отец Брилаха был фельдфебелем и слесарем. Отцы других мальчиков были: либо майор и в то же время директор, либо унтер-офицер и бухгалтер, либо старший ефрейтор и редактор, ни один из отцов не был рядовым, и ни один из них — поэтом. Дядя Брилаха, Лео, был вахмистром, вахмистр и кондуктор — цветная фотография на кухонном буфете между *саго* и *крупой*. Что такое *саго*? От этого слова веяло Южной Америкой.

Потом выплывали вопросы из катехизиса — водоворот цифр, и каждая обозначала вопрос и ответ.

Вопрос одиннадцатый: прощает ли бог грешника, который покался? Ответ: да, бог охотно прощает всякого грешника, который покался. И непонятное двестишестое: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» Никто не останется. По твердому убеждению Брилаха, все взрослые — *безнравственные*, а дети бесстыдные, мать Брилаха *безнравственная*, дядя Лео — тоже, кондитер, может быть, тоже; и его мать, которой бабушка ше-

потом выговаривает в передней: «Где ты только шляешься?» — тоже.

Есть, конечно, исключения, это признавал даже Брилах: дядя Альберт, потом столяр, который живет внизу, в доме Брилаха, фрау Борусьяк и ее муж, Глум и Больда. Но лучше их всех фрау Борусьяк — у нее низкий, глубокий голос, и она распевает над комнатой Брилаха чудесные песни, даже во дворе слышно.

Думать о фрау Борусьяк очень приятно и успокоительно. «*Я выросла в краю зеленом*», — часто пела фрау Борусьяк, и когда она так пела, ему все казалось зеленым, словно к глазам поднесли бутылочное стекло — все-все становилось зеленым, даже теперь, в постели, ночью, когда он с закрытыми глазами думал о фрау Борусьяк и слышал ее песню: «*Я выросла в краю зеленом*».

Хороша еще песня про долину скорби: «Привет тебе, звезда в зените». И от слова «зенит» тоже все зеленело. В какое-то мгновение он все-таки засыпал — где-то между пением фрау Борусьяк и словом, которое мать Брилаха сказала кондитеру, — это слово дяди Лео, — слово, которое мать прошипела сквозь зубы в пахнущем сдобой, теплом подвале пекарни, слово, значение которого ему разъяснил Брилах: это слово про сожительство мужчин и женщин, имеющее отношение к шестой заповеди, безнравственное слово, и сразу на память приходит стих, который его очень занимает: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» А может быть, сон приходил к нему, когда он вспоминал про Хоппелонг Кессиди — лихого ковбоя с лихими приключениями, чуть глуповатого, как все гости, которых мать приводила в дом.

Так или иначе, но слышать дыхание матери было приятно: ее постель часто пустовала, иногда несколько суток подряд, и тогда в передней бабушка укоризненно шептала:

— Где ты только шляешься?

Мать не отвечала. Утреннее пробуждение тоже таило в себе некоторую опасность. Если Альберт будил его, уже надев чистую рубашку и галстук, все проходило благополучно: они устраивали тогда в комнате Альберта настоящий завтрак и никуда не торопились и не волновались, и можно было еще раз пробежать вместе с Альбертом домашние задания. Но если Альберт был еще в пижаме, непричесанный, с измятым лицом, тогда приходилось второпях глотать горячий кофе и срочно писать записку: «Глубокоуважаемый господин Вимер, прошу вас извинить меня за то, что мальчик снова опоздал сегодня. Его мать уехала, а я забыл разбудить его вовремя. Еще раз прошу извинить меня. С совершенным почтением».

Плохо было, когда мать приводила гостей: беспокойный сон в широкой постели Альберта, глупый смех, доносившийся из маминой комнаты; Альберт в такие ночи иногда и вовсе не ложился и только между пятью и шестью принимал ванну: шум воды, всплески, а он снова засыпал, и когда Альберт будил его, чувствовал себя бесконечно усталым и разбитым. На уроках он тогда клевал носом, а после уроков в качестве вознаграждения его водили в кино и кушать мороженое или брали к матери Альберта, в *Битенхан* — «Лесные ворота». Там пруд, где Глум голыми руками ловит рыбу и снова бросает ее в воду, там комната над коровником, там можно *часами* гонять в футбол с Альбертом и Брилахом на утоптанной, вы-

кошенной лужайке, пока не проголодаешься и не захочешь отведать хлеба, который мать Альберта печет сама, а дядя Билль всегда приговаривает: «Намажьте побольше масла». Покачает головой: «Побольше масла». Опять покачает: «Еще больше». И Брилах, всегда такой неулыбчивый, смеется там от души.

Было много станций на пути, он мог уснуть на любом перегоне: Битенхан и отец, Блонди и безнравственно. Приглушенное жужжание вентилятора значило, что все хорошо: мать дома. Шелест страниц, дыхание матери, чирканье спички и тихий, быстрый глоток, когда она подносит к губам стакан с вином, — и непонятное движение воздуха, когда вентилятор давно уже выключен: это дым тянется к вентилятору, и Мартин незаметно погружался в сон — где-то между Гезелером и «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши».

2

Лучше всего было в Битенхане, где мать Альберта держала загородный ресторанчик. Мать Альберта все пекла сама, даже хлеб. Она это делала просто потому, что любила печь, — и они с Брилахом могли в Битенхане вытворять все, что им заблагорассудится, — ловить рыбу, уходить в долину, кататься на лодке или часами играть за домом в футбол. Пруд вдавался в лесную чащу, и их обычно сопровождал дядя Билль — брат матери Альберта. С детских лет дядя Билль страдал какой-то удивительной болезнью, которую все называли «ночная потливость» — странное название, вызывавшее смех у бабушки и Глума, Больда тоже хихикала, услышав это слово. Биллю

было уже под шестьдесят. Когда же ему не было еще и десяти, мать однажды нашла его в постели всего залитого потом. На следующий день повторилась та же история, и мать, обеспокоившись, потащила его к доктору, ибо по каким-то таинственным преданиям ночная потливость считалась верным признаком чахотки. Но легкие у маленького Билля оказались в полном порядке, только сам он, как выразился доктор, был мальчик нервозный и subtilный; и доктор — тот самый, который вот уже сорок лет покоится на городском кладбище, — сказал пятьдесят лет тому назад: «Ребенка нужно беречь».

И Билля всю жизнь берегли. «Нервизный, subtilный» да еще ночная потливость — все это превратилось в своего рода ренту, которую пожизненно выплачивала ему семья. Мартин и Брилах, узнав об этом, долгое время с утра ощупывали свои лбы и по пути в школу делились наблюдениями. Выяснилось, что и у них иногда лбы бывают влажные. Особенно у Брилаха — он потел по ночам часто и очень обильно, но, с тех пор как Генрих Брилах родился, никому и в голову не приходило хоть денек побереечь мальчика. Мать рожала его, когда на город сыпались бомбы, они падали на ту улицу, а под конец и на тот дом, где в бомбоубежище, на грязных нарах, заляпаных ваксой, она корчилась в схватках. Голова матери оказалась на том самом месте, где какой-то солдат пристроил свои сапоги: от запаха ворвани ее тошнило куда сильнее, чем от родов, и когда кто-то сунул ей под голову замызганное полотенце, запах армейского мыла, жалкий аромат его тронул ее до слез; это оскверненное благоухание показалось ей невыразимо дорогим.

Когда начались схватки, ей помогли; ее вырвало прямо на ноги окружающих, и самой хорошей и хладнокровной повитухой оказалась четырнадцатилетняя девочка. Она вскипятила воду на спиртовке, приготовила стерильные ножницы и перерезала пуповину. Она делала все в точности, как написано было в книге, которую ей совсем не следовало бы читать; хладнокровно и в то же время мягко и с удивительной выдержкой делала она то, что по ночам, когда родители давно уже спали, вычитала в книге с красновато-белыми и желтоватыми рисунками; она перерезала пуповину стерилизованными портняжными ножницами, которые взяла у своей матери. Та отнеслась к познаниям дочери недоверчиво, хотя и не без некоторой доли восхищения.

Потом, когда тревога кончилась, до них откуда-то издалека донесся рев сирены: так до зверей, забившихся в чашу леса, доносятся голоса охотников. Дом рухнул. Руины зловеще приглушали звук, и мать Брилах, которая оставалась в подвале одна с четырнадцатилетней повитухой, услышала крики остальных, — они пытались выбраться наверх сквозь завалившийся проход.

— Как тебя зовут? — спросила она у девочки: ей никогда раньше не приходилось с ней встречаться.

— Генриетта Шадель, — ответила девочка и достала из кармана непочатый кусок зеленоватого мыла.

Тогда фрау Брилах сказала:

— Дай-ка мне понюхать.

И она нюхала мыло и плакала от счастья, а девочка тем временем заворачивала ребенка в одеяло.

У нее оставалась только сумочка с деньгами и продуктовыми карточками, грязное полотенце, подсуну-